# Каппадокия

***Сто сорок тысяч воинов Понтийского Митридата
— лучники, конница, копья, шлемы, мечи, щиты —
вступают в чужую страну по имени Каппадокия.
Армия растянулась. Всадники мрачновато
поглядывают по сторонам. Стыдясь своей нищеты,
пространство с каждым их шагом чувствует, как далекое
превращается в близкое. Особенно — горы, чьи
вершины, устав в равной степени от багрянца
зари, лиловости сумерек, облачной толчеи,
приобретают — от зоркости чужестранца —
в резкости, если не в четкости. Армия издалека
выглядит как извивающаяся река,
чей исток норовит не отставать от устья,
которое тоже все время оглядывается на исток.
И местность, по мере движения армии на восток,
отражаясь как в русле, из бурого захолустья

преображается временно в гордый бесстрастный задник
истории. Шарканье многих ног,
ругань, звяканье сбруи, поножей о клинок,
гомон, заросли копий. Внезапно дозорный всадник
замирает как вкопанный: действительность или блажь?
Вдали, поперек плато, заменив пейзаж,
стоят легионы Суллы. Сулла, забыв про Мария,
привел сюда легионы, чтоб объяснить, кому
принадлежит — вопреки клейму
зимней луны — Каппадокия. Остановившись, армия
выстраивается для сраженья. Каменное плато
в последний раз выглядит местом, где никогда никто
не умирал. Дым костра, взрывы смеха; пенье: ‘Лиса в капкане’.
Царь Митридат, лежа на плоском камне,
видит во сне неизбежное: голое тело, грудь,
лядвие, смуглые бедра, колечки ворса.

То же самое видит все остальное войско
плюс легионы Суллы. Что есть отнюдь
не отсутствие выбора, но эффект полнолунья. В Азии
пространство, как правило, прячется от себя
и от упреков в однообразии
в завоевателя, в головы, серебря
то доспехи, то бороду. Залитое луной,
войско уже не река, гордящаяся длиной,
но обширное озеро, чья глубина есть именно
то, что нужно пространству, живущему взаперти,
ибо пропорциональна пройденному пути.
Вот отчего то парфяне, то, реже, римляне,
то и те и другие забредают порой сюда,
в Каппадокию. Армии суть вода,
без которой ни это плато, ни, допустим, горы
не знали бы, как они выглядят в профиль; тем паче, в три

четверти. Два спящих озера с плавающим внутри
телом блестят в темноте как победа флоры
над фауной, чтоб наутро слиться
в ложбине в общее зеркало, где уместится вся
Каппадокия — небо, земля, овца,
юркие ящерицы — но где лица
пропадают из виду. Только, поди, орлу,
парящему в темноте, привыкшей к его крылу,
ведомо будущее. Глядя вниз с равнодушьем
птицы — поскольку птица, в отличие от царя,
от человека вообще, повторима — орел, паря
в настоящем, невольно парит в грядущем
и, естественно, в прошлом, в истории: в допоздна
затянувшемся действии. Ибо она, конечно,
суть трение временного о нечто
постоянное. Спички о серу, сна

о действительность, войска о местность. В Азии
быстро светает. Что-то щебечет. Дрожь
пробегает по телу, когда встаешь,
заражая зябкостью долговязые,
упрямо жмущиеся к земле
тени. В молочной рассветной мгле
слышатся ржание, кашель, обрывки фраз.
И увиденное полумиллионом глаз
солнце приводит в движенье копья, мослы, квадриги,
всадников, лучников, ратников. И войска
идут друг на друга, как за строкой строка
захлопывающейся посередине книги
либо — точней! — как два зеркала, как два щита, как два
лица, два слагаемых, вместо суммы
порождающих разность и вычитанье Суллы
из Каппадокии. Чья трава,

себя не видавшая отродясь,
больше всех выигрывает от звона,
лязга, грохота, воплей и проч., глядясь
в осколки разбитого вдребезги легиона
и упавших понтийцев. Размахивая мечом,
царь Митридат, не думая ни о чем,
едет верхом среди хаоса, копий, гама.
Битва выглядит издали как слитное ‘О-го-го’,
верней, как от зрелища своего
двойника взбесившаяся амальгама.
И с каждым падающим в строю
местность, подобно тупящемуся острию,
теряет свою отчетливость, резкость. И на востоке и
на юге опять воцаряются расплывчатость, силуэт,
это уносят с собою павшие на тот свет
черты завоеванной Каппадокии.***